

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ

В 60-м выпуске моего «Русского жанра» я объявил, что с ним завязываю. Как с водкой. Написал и вспомнил, что астраханский писатель Юрий Селенский говаривал: «Оформлю пенсию – писать брошу», недоверчивые реплики комментировал: «Даже х... на заборе не напишу!», а сам писал тогда лучшую свою повесть «Не расти у дороги».

Но проклятая привычка тянет к столу. Пусть выйдет тот же русский жанр, ну и что? Кобзон лет пятнадцать давал свой прощальный концерт, а нам, малым сим, тем более простительно.

А как назвать?

После «Осколков» за полтора века ничего лучше не придумали, в моё же время были «Затеси», «Мгновения» и просто немыслимое по безвкусице – «Крохотки». Я долго искал, сверяясь в Сети, не было ли где такой книги. Вот как-то придумалось: «Дребезги», но так назвал воспоминания Валерий Золотухин. Хотел «Черепки», да уж слишком близко к черепу, а поскольку меня не так много отделяет от этого состояния головы, испугался и придумал: «Запятая». Во-первых, всё-таки ещё не точка, во-вторых, я всю жизнь предпочитал не договаривать.

Май 2019

...

«Пишет либеральные повести, но при случае любит дать понять, что он коллежский регистратор и занимает должность» Чехов. Остров Сахалин.

...

Некрасов в «Петербургских углах» делает сноску к слову «ерунда»: «лакейское слово, равнозначительное слову – дрянь».

Но в современном бытовании *ерунда* и *дрянь* далеко не всегда синонимы. Если синонимический ряд к *ерунде* состоит из аналогичных наречий – *чепуха*, *пустяк* и т.п., то к *дряни* куда больше негативно-человеческих существительных: *негодяй*, *тварь*, *подонки*, *гнушь*.

Что же такое лакейский язык?

Первым, естественно, идёт на память Смердяков.

«А они про меня отнеслись, что я вонючий лакей. Они меня считают, что бунтовать могу; это они ошибаются-с. Была бы в кармане моем такая сумма, и меня бы здесь давно не было. Дмитрий Федорович хуже всякого лакея и поведением, и умом, и нищетой своею-с, и ничего-то он не умеет делать, а, напротив, от всех почтен. Я, положим, только бульонщик, но я при счастье могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке. Потому что я готовлю специально, а ни один из них в Москве, кроме иностранцев, не может подать специально. Дмитрий Федорович голоштанник-с, а вызови он на дуэль самого первейшего графского сына, и тот с ним пойдёт-с, а чем он лучше меня-с? Потому что он не в пример меня глупее. Сколько денег просвистал без всякого употребления-с».

И дело конечно не только в пресловутом *словоерсе* почти к каждому слову и не только в словаре, а в самой лакейской тональности.

Лакей и слуга. Точно ли синонимы? вот классический из старых русских слуг – обломовский Захар.

Захар хорошо слышит и понимает слово, его не проведёшь иноземным, каким так любит щеголять Смердяков, но доконаешь «жалкими словами»:

«Да что это, Илья Ильич, за наказание! Я христианин: что ж вы ядовитым-то браните? Далось: ядовитый! Мы при старом барине родились и выросли, он и щенком изволил бранить и за уши драл, а этакое слова не слыхивали, выдумок не было!»

У того же Гончарова есть очерк «Слуги старого века», где в предисловии он отвергает «демократические» упрёки в свой адрес за якобы нелюбовь к «крестьянам»: «Я не владел крестьянами. Не было у меня никакой деревни, земли; я не сеял, не собирал, даже не жил никогда по деревням».

И первый из описанных – Валентин многим напоминает Смердякова. Он столь же аккуратен и щеголеват. Он тоже любит рифмы и даже выписывает в тетрадку «Сенонимы». Так с чьего-то научения он называет «одноречные слова. Например, рядом стояли “эмансипация и констипация”, далее “конституция и проституция”, потом “тлетворный и нерукотворный”, “нумизмат и кастрат”, и так без конца». Со Смердяковым Валентина роднит сластолюбие и высокомерное презрение к «мужичью», соседские девицы, за которыми ухлёстывает, «за честь должны считать, что я с ними обращаюсь!».

И все описанные в очерке слуги речью не схожи. Богатырь и обжора Антон изъясняется иначе, чем старенький пьяница Степан, или честный до абсурда католик Матвей – у всех своя лексика и интонация. Так что же такое лакейская речь?

Если обозреть русскую литературу на этот счет (думаю, такие работы есть), то, конечно, некие типические особенности языка прислуги мы обнаружим, и всё-таки у русских писателей слуга это всегда индивидуальность (Селифан и Петрушка!), и ступени его жизни от мужика к лакею в барском доме или к трактирному половому отражены в речи. А еще слуга, в силу постоянного сожития с бариним, делается его карикатурой, жуир и бездельник Осип пародирует Хлестакова, так и старый слуга беспечного Стивы Облонского Матвей убежден, что все само собою «образуется».

...

Я как-то уже признавался в привязанности к Илье Эренбургу, мало объяснимой, потому что редко встречал его даже не поклонников, но просто читателей. Имя всем известно, как и то, что он долго жил в Париже, что был в войну главным публицистом – вот и всё. В лучшем случае в литературной компании назовут «Хулио Хуренито» со знаком плюс и «Бурю» со знаком минусом, хотя скорее всего ни тот ни другой роман не читали.

Меня же давно всё, связанное с личностью и книгами Эренбурга, притягивает ничуть не меньше, чем творчество и личности Алексея Н. Толстого, Булгакова или Зощенко. Случилось так, что по времени совпали публикация в журнале «Знамя» моей рецензии на книгу Бенедикта Сарнова «Случай Эренбурга» и знакомство с главным эренбурговедом страны Борисом Фрезинским, которому я высказал ему своё пристрастие к Эренбургу, и у нас быстро возникли короткие отношения. Но прочитав мою рецензию, он жестоко раздолбал её, как уличив в ошибках, так и навязывая собственный взгляд на писателя, который я не во всём мог принять. Борис, подобно другим исследователям, у кого одна, но пламенная страсть, даже если очень и пожелает, никогда и ни за что не признает малейшего отклонения от собственной позиции. И это в конце концов правильно. Любовь не бывает объективной.

Книга Ильи Эренбурга «Лик войны. Воспоминания с фронта, 1919, 1922–1924. Газетные корреспонденции и статьи, 1915–1917» (составление, подготовка текстов, вступительная статья, комментарии, подбор иллюстраций Б.Я. Фрезинского, СПб. 2014), вобравшая статьи писателя в бытность его корреспондентом французских газет, стала для

меня открытием, много разъяснила в творчестве и личности Эренбурга и объяснила моё к нему пристрастие¹.

Ещё было важно, что моя рецензия под удачным названием «Боши, а не фрицы», пришлось по сердцу Фрезинскому.

Перебирая сейчас нашу с ним переписку, наткнулся на своё письмо 2015 года, которое показалось мне *литературно* (во всяком случае для меня), существенным.

Дорогой Борис!

Я по получении книг «Лик войны» и «Троцкий. Каменев. Бухарин» сообщил тебе об этом, но ответа не получил. Надеюсь, здоровье твое терпимо для нашего возраста и сердец².

Книгою «Лик войны» ты произвел в моем расшатанном организме волнение. Я как мог откликнулся на книгу рецензией, которую приняли в «Знамени». Но главное вновь погрузился в Эренбурга. Даже и в своих легкомысленных, справедливо тобой различтоженных заметках о книге Бена Сарнова я признавался в страсти к ИГ, видимо, потому ты мне и доверился. После «Лица войны» я вновь погрузился в твою главную «Об Илье Эренбурге»³. А оттуда то и дело к трехтомнику писем⁴, и наконец к сочинениям самого ИГ, о чем ниже.

Любимое мое чтение это перелезть из книги в книгу по поводу, или по имени, особенно если раньше на нем не сосредотачивался. Сейчас, например, отношения ИГ с Пильняком. Кстати, я рад был прочитать, что ты подвергаешь сомнению утверждение Ахматовой о «чудовищном антисемитизме» А.Толстого⁵. Еще в связи с Толстым два вопроса: ты пишешь «возможно по доносу Толстого его и выслали» – но никаких подтверждений, хотя бы и косвенных, не приводишь, почему? А еще о многолетней ссоре с Толстым ИГ писал, что причин не помнил. Так ли это, или не желал сказать?

Вообще книга твоя «Об Илье Эренбурге» не просто уникальная, притом очень лично окрашенная, энциклопедия, но пример истинно профессиональной работы, какие в нашей болтливой или формальной филологии редки. Вероятно, тебе помогает математическая подготовка, настолько ты скрупулёзен и обширен во всем, что необходимо читателю.

Теперь о произведениях ИГ, к которым я то и дело бросался по мере чтения твоей книги и трехтомника. Я неожиданно, и с совсем иным отношением, то есть интересом, перечитал «День второй». Меня нисколько не оттолкнула «советскость» романа, это какая-то очень честная советскость, как будто немного иностранца, который хочет разобраться, что же в СССР происходит. Но от главы к главе у меня нарастало раздражение из-за искусственного ведения сюжета. Пусть ИГ и говорил сам, что «День второй» это цепь очерков, но ведь и в других романах он бывает столь же слаб в сюжете, фабуле, раскрытии конфликтов.

Исключение – «Рвач», думаю, все же лучший роман его. И очень русский. Классически русский.

И я тебе страшно благодарен, что ты как бы заново «отравил» меня Эренбургом. Однако, удивительное дело, читать об Эренбурге, про Эренбурга и проч. мне по-прежнему часто интереснее, чем его. Пытался понять, почему почти часто читаю его с затруднением на примере «Дня второго». Дело в какой-то, присущей почти всем его

¹ В книге «Заклад», пытаюсь сформулировать собственные литературные устои, я писал: «Мне очень близок пример Эренбурга, которого Шкловский назвал Павлом Савловичем».

² Так как Фрезинский ещё более заслуженный сердечник, чем я, любое молчание меня тревожит.

³ Борис Фрезинский. «Об Илье Эренбурге». М.: НЛО, 2013

⁴ Илья Эренбург. Письма. В 2 т., М.: Аграф, 2004 и «Почта Ильи Эренбурга». М.: Аграф, 2006.

⁵ Я написал об этом статью «Еврейские персонажи Алексея Н. Толстого», не раз её переделывал, даже сподобился получить в целом поощрительный отзыв самой Елены Толстой, но не пытаюсь публиковать, прочитав в её книге «“Дёготь или мёд?” Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель (1917–1923)» (М.: Изд. РГГУ, 2006), блистательную главу «Фило- и антисемитизм Алексея Толстого».

романам, выражусь неуклюже, лирической особенности сюжета – герои откровенно управляются рукою автора. Автор не растворяется в своих героях.

Исключение, повторяю, «Рвач», самый занимательный его роман, вероятно потому что пружина действия – Михаил, выписанный досконально, не просто характер, но тип. (Чего не прочитал в Сафонове.)

А в других романах часто мешает до назойливости настойчивый голос автора, особенно проявляющийся в характерной интонации стиля. Зато эта особенность совершенно естественна не только в ЛГЖ, но и в «Лете 1925 года», который я с удовольствием перечитал сейчас. А вот взялся было за «Заговор равных» и отставил – скучно! Вдруг заметил, что самые мои любимые вещи все из 2-го тома 9-томника: «Рвач», «Лето 1925 года» и «В Проточном переулке».

Я, правда, очень многого не читал – «Жанну Ней», «Николая Курбова», «Девятый вал», а «Падение Парижа» показалось когда-то чересчур иностранным, словно перевод. «Бурю» не одолел, есть у нехорошая для профессионала черта – не могу читать через силу. Покойный брат, бывало, читает книгу и чертыхается, я ему говорю – брось, а он отвечал, что не может.

Вот такой мой тебе отчет по Эренбургу.

...

Лев Кассиль. Это имя в детстве было связано с тремя моментами.

1. В доме была книга в ярко-жёлтом переплёте «Кондуит», которую я ещё не читал.

2. В 1955 году впервые был на взрослом собрании в саратовском Доме ученых на 50-летию отца, где со сцены зачитывали поздравительные телеграммы, и запомнилось: «Радуюсь издалека / успехам земляка, / желаю бодрости и сил / ваш неизменно Лев Кассиль».

3. Спустя два года, когда женился старший брат, среди приданого Нины были две книги Кассиля. «Швамбрания», как оказалось, вариант-продолжение нашего жёлтого «Кондуита» и крайне мне понравившееся «Великое противостояние» о девочке Симе, снимавшейся в кино у режиссера с диковинной фамилией Расщепей.

Потом по школьной программе была очень толстая и очень скучная «Улица младшего сына» о пионере-герое Володе Дубинине (тогда обязательно читали несколько таких книг – «Четвертая высота» и др.). Потом попадались «Вратарь республики», что-то ещё, имя писателя для меня потускнело, пока, уже студентом филфака, не решил заглянуть наконец в старый жёлтый «Кондуит», который оказался вполне ровень с высококочтимой мной прозой 20-х годов.

Кондуит. М.: ОГИЗ-Детгиз, 1934. Издание пятое, дополненное, иллюстрации КУКРЫНИКСОВ.

Эта книга свидетельство того, что к страшному 34-му году не вовсе были утрачены уровни прозы и книгоиздания 20-х годов.

...

«Обилие деталей, может быть, верных и трогательных самих по себе, но увиденных не Саней Григорьевым, а Кавериным, вернее даже не увиденных, а собранных заботливо из того, что увидено другими, похожих и на засушенные цветы, сушит книгу, мельчит и центральный образ и его автора. <...> Нам жаль, что Каверин написал вторую книгу «Двух капитанов», – писала Вера Смирнова в журнале «Знамя» (1946, №5).

Мы так привыкли к присутствию в нашей жизни этого романа, что воспринимаем его как целое, тогда как первая (1938–40) и вторая (1944) книги разительно отличаются, и не в пользу второй. Самый приём продолжения повествования не автором, а через рассказ двух главных героев сильно подвёл писателя: речь Сани и Кати ничем не отлична, и

зачастую равно бесцветна. Ещё можно немало выставить упрёков в неизбежном для завершения сведения концов с концами во имя торжества справедливости: ареста Ромашова, разоблачения Николая Антоновича и др., но, в конце концов, это вполне в романтической традиции.

Статья Веры Смирновой порой преподносится чуть ли не как донос с целью не допустить присуждение роману Сталинской премии. Сын писателя в наше время отозвался так: «...была резкая критическая статья Веры Смирновой. Я не помню, за что именно она критиковала роман. Возможно, за то, что там не отражена роль Партии и Комсомола, практически нигде не упоминается Сталин».

То, что в 1938 году Смирнова по заданию Детгиза составила книгу «Рассказы о детстве Иосифа Сталина», забракованную вождём, ещё не делает её Ермиловым в юбке. Она писала о Гайдаре и Житкове, дружила с Чуковским, в эвакуации была близка с Цветаевой. Вот запись в дневнике Фекина: «Выяснилось вчера, что лучшие докладчики на конференции Университета, посвященной мне, грешнику, Ю. Оксман и В. Смирнова не приедут по болезни. Их выступления только и занимали меня, – теперь интерес наполовину пропал и всё будто посерело» (28.IX.59, Саратов).

...

В советское время многими гражданами почитался оскорбительным вопрос к очереди: «Кто последний?» Надо было спросить: «Кто крайний?»

Как сейчас не знаю, но очереди где-то ведь бывают?

Что негативное восприятие определения «последний» сложилось издавна, встретим в рассказе Чехова «Корреспондент» (1880), где престарелый газетчик, написав о благотворительных взносах купцов, читает сочиненное одному из них: «Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена: Гурий Петрович Грыжев (2000), Петр Семенович Алебастров (1500), Авив Ипокентиевич Потрошилов (1000) и Иван Степанович Трамбонов (2000). Последний обещал...» Кто это последний?

– Последний-с? Это вы-с!

– Так я, по-твоему, значит, последний?

– Последний-с... То есть... эк... эк... гем... в смысле...

– Так я последний?

Иван Степанович поднялся и побагровел.

– Кто последний? Я?

– Вы-с, только в каком смысле?!

– В таком смысле, что ты дурак! Понимаешь? Дурак! На тебе твою корреспонденцию! (...) Иван Степанович Трамбонов последним никогда не был и не будет! Ты последний! Вон отсюда, чтобы и ноги твоей здесь не было!»

...

Остап «Золотого телёнка» уже не способен украсть вдовье ситечко, да и охмурять её. В «Золотом телёнке» он во всём масштабнее, легко осваивается в роли руководителя, а попав в политизированную среду совжуров, мгновенно находит с ними общий язык. Он всё менее чужой в советском обществе. Разве могла прежним Бендером, пусть и ненадолго, овладеть готовность избавиться от криминального чемодана?

С крахом бегства в Рио для него открывался новый путь, заявленный в финале, и можно вообразить, что в третьем романе Остап разбогатеет именно на благодатной ниве ЖКХ, уведёт Зосю у скучного грека и захочет для своих детей светлого будущего...

...

Когда я был маленьким и юным, председателей колхозов в кино всегда играл Сергей Блинников. Справился: в семи фильмах, не считая директоров и генералов. Думаю, городской зритель представлял предколхоза именно как Блинникова – высокого, лысого, громогласного.

Лишь недавно узнал, что двадцатипятилетний актёр был занят в первом составе «Дней Турбиных» в МХАТе в 1926 году!

То есть я знал, что он был актёр Художественного, но мало ли кто там и в какие времена не служил... Нет, в первой постановке в роли гимназического сторожа Максима, в очередь с Михаилом Кедровым, он выходил на сцену с Хмельвым, чтобы через 20 лет пошли сплошные Иван Бровкины. Дивны дела твои, советское искусство!

...

По мне самое удачное происхождение – родиться в семье сельских интеллигентов.

Прямо-таки близко к помещицкому небогатому детству, слитно влить в себя природу и книгу, сельский труд и культуру.

Недостаточен сугубый горожанин, не умеющий отличить коршуна от ястреба, овса от пшеницы, не слышащий мелодий сохранившейся в глуши народной речи, уязвим и крестьянин, даже сделавшийся черт знает каким важным академиком, он до конца дней несёт груз родовой ограниченности.

...

Мой старший брат не любил кошек. При любом случае гонял, швырял камнями в проходившую по высокому карнизу соседнего дома.

А в год смерти с ним рядом возник большой серый кот, который везде шёл следом. Обычный маршрут брата в то время – утром к открытию киоска «Союзпечати». Шёл 1988 год... Жадное внимание к публикациям «Московских новостей» и «Огонька». Жванецкий тогда заметил, что читать стало интереснее, чем жить.

К киоску приходили заранее, в ожидании привоза возникало подобие политклуба. Очередь собиралась огромная: любимых изданий не хватало, и после открытия доходило до драк.

Кот, имя которого я забыл, терпеливо, подобно верному псу, ожидал хозяина рядом, а когда тот умер, прыгнул в гроб, и согнать с груди покойника удавалось ненадолго. Увезли гроб, и кот ушёл навсегда.

...

Когда впервые, лет, наверное, в сорок, остро замечаешь бег времени, становится страшно: только что было воскресенье и уже пятница, только что исполнился сорок один год и вот уже сорок пять, только что, только что...

А сейчас, в семьдесят два, почему-то не страшно, лишь будничное время стал считать не часами и сутками, а неделями.

Из той же оперы и равнодушие к уходам сверстников, что так пугали когда-то, жаль только молодых: видя юного покойника, чувствуешь вину перед ним за то, что жив.